

В. В. Абашев

**Русская литература  
Урала**

**Проблемы геопоэтики**

DirectMEDIA

# Владимир Васильевич Абашев

## Русская литература Урала.

### Проблемы геопоэтики

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=11822119](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11822119)

*Русская литература Урала. Проблемы геопоэтики. Учебное пособие: Директ-Медиа; Москва-Берлин; 2014  
ISBN 978-5-4475-0440-3*

#### **Аннотация**

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Филология» и изучающих проблемы региональной уральской литературы и культуры в рамках учебной дисциплины «Региональная литература и культура» общепрофессионального цикла. В учебном пособии литература рассматривается в ее взаимодействии с географическим пространством. Соответственно рассматриваются история формирования и механизмы локальных текстов – уральского и пермского, изучается роль геопоэтических образов в становлении территориальной идентичности, проблемы прагматики литературного текста. В пособии анализируется проза Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.В. Иванова, путевые заметки П.И. Мельникова-Печерского, П.А. Небольсина и А.И. Герцена, творчество современных пермских поэтов.

Учебное пособие подготовлено в рамках гранта РГНФ № 12-14-59006. «Идеология и символика региональной идентичности в художественном творчестве и гуманитарной практике Алексея Иванова».

# Содержание

Введение	5
Геопозэтический подход к изучению истории литературы Урала	26
Формирование основ геопозэтики Урала в прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка	58
Конец ознакомительного фрагмента.	64

**В. В. Абашев**  
**Русская литература**  
**Урала. Проблемы**  
**геопоэтики.**  
**Учебное пособие**

**Введение**

История и жизнь человека не только протекают во времени, но и *размещаются* в пространстве, что неизбежно предполагает вопрос о *месте* жизни – стране, крае, городе: что это такое и каков смысл моей жизни здесь? Человек не выносит смысловой и ценностной пустоты места, где он живет, ему насущно необходимо его осмыслить и ценностно упорядочить, вписав тем самым в свой мир.

Этот – экзистенциальный по существу – аспект отношений человека к месту его жизни был одним из самых существенных для нас импульсов к изучению *уральского и пермского* текста. И вопросы о том, что такое Урал и Пермь, стали главными вопросами этого

не вполне традиционного в жанрово-стилистическом отношении учебного пособия. В его основу положены работы, написанные в основной своей части в конце 1990-х – 2000-е гг. Их объединяет проблема взаимодействия пространства и культуры, подлинная насущность которой не вызывает сомнений. Современные шумные дискуссии об имидже и брендах территорий – лишь поверхностное выражение глубинной потребности национального, исторического и, соответственно, территориального самоопределения.

Предмет пособия – Урал и Пермь.

Но речь далее пойдет не о географии или истории региона и города, а об Урале и Перми как месте жизни человека и феномене русской культуры: своего рода текстах в ряду других им подобных синтетических текстов об исторически памятных и ставших символическими местах России – *петербургского, московского, сибирского, провинциального*. Уральский и пермский тексты русской культуры – вот тема пособия. Иначе говоря, мы будем размышлять не столько о Перми, физически существующем городе и земле, а об их тени или следе в культурной памяти – ‘Перми’, структурно-семантическом образовании, одном из топосов русской культуры, семантической матрице, осмысливающей и город, и землю.

В основе так поставленной задачи лежит пред-

ставление о творческой, конструирующей реальность энергии культуры. Ведь осваивая место, избранное для жизни, человек не только преобразует его утилитарно. Исходя из духа и норм своего языка и культуры, он организует новое место символически и тем самым, вырывая его из немого доселе ландшафта, приобщает к порядку культуры. Культура не нейтральна к физическому пространству, она его идеально переустраивает и трансформирует, сообщает ему структуру и смысл.

В результате рождается новая реальность места. Трудность восприятия этой реальности в том, что символическая структура места сливается с природной до неразличимости, выступая для человека в его живом опыте как некая изначальная данность места. Впрочем, есть в русской культуре место, где опыт по взаимодействию природного ландшафта и творческого воображения был проведен с почти лабораторной чистотой, и результаты его поразительно наглядны и убедительны. Это Коктебель. В начале века Коктебель был никому неведомой глухой деревушкой. Сегодня, благодаря жизни в этом уголке Максимилиана Волошина и его стихам, Коктебель превратился в один из самых памятных символов русской поэзии, и в этом качестве он известен всем. Творческое воображение русского поэта преобразило крымский ланд-

шафт буквально: оно *лепило и ваяло* его по образу и подобию символических форм культуры.

С тех пор, как отроком у молчаливых,  
Торжественно-пустынных берегов  
Очнулся я – душа моя разъялась,  
И мысль росла, *лепилась и ваялась*  
*По складкам гор, по выгибам холмов.*  
<...>

Моей мечтой с тех пор напоены  
Предгорий героические сны  
И Коктебеля каменная грива;  
Его полынь хмельна моей тоской,  
Мой стих поет в волнах его прилива,  
И *на скале*, замкнувшей зыбь залива,  
*Судьбой и ветрами изваян профиль мой* [Волошин  
1990: 49].

Слова о том, что мысль поэта *лепила и ваяла* холмы и горы Коктебеля, – не только красивая метафора, но и точное определение существа взаимодействия культуры и ландшафта. Когда-то Волошин увидел очертания своего профиля в абрисе скал Карадага и запечатлел наблюдение в строке стиха. Сегодня этот профиль видят все, он стал *реальной* и поэтому для всех *различимой* формой ландшафта. И более того – энергия творческого воображения Волошина, открывшего процесс символизации Коктебеля, действу-

ет и сегодня. Процесс формотворчества продолжается по заданной поэтом программе. В очертаниях Карадага, подчиняясь логике восприятия Волошина, сегодняшние посетители Коктебеля *различают* все новые многозначительные формы.

Случай с Коктебелем по концентрации культурной символики на столь малом участке пространства почти уникален. Тем не менее он отражает общую закономерность взаимодействия человека и места его жизни. В подходе к этой проблеме мы разделяем принципиальную установку американского искусствоведа и культуролога Саймона Шама, посвятившего обширное исследование «Ландшафт и память» развитию символики ландшафтных форм в истории культуры. Парадоксально формулируя основную мысль, Шама заявил, что «ландшафты – это скорее явления культуры, чем природы. Модели нашего воображения проецируются на лес, и воду, и камень <...> [и] как только какая-либо идея ландшафта, миф или образ воплотится в месте сем, они сразу становятся способом конструирования новых категорий, создания метафор более реальных, чем их референты, и превращающихся в часть пейзажа»<sup>1</sup>[Shama 1996: 61].

---

<sup>1</sup> В оригинале: «Landscapes are culture before they are nature; constructs of the imagination projected onto wood and water and rock. <...> But it should also be acknowledged that once a certain idea of landscape, a myth,

Мысль о конструктивной силе творческого воображения, вносящего свои символические структуры в реальность, – одна из ведущих в нашем исследовании об Урале и Перми как феноменах русской культуры.

Базовым инструментом нашего исследования является понятие текста – одно из ключевых понятий в науках гуманитарного цикла, давно вышедшее за рамки специально литературоведческой и лингвистической интерпретации и приобретшее статус культурологического.

Для развития современной науки в целом характерно укрупнение объектов изучения. Стремление перейти от наблюдения и описания отдельных феноменов к анализу целостных, развивающихся и внутренне динамичных, подвижных систем все более проникает во все сферы научного знания. Эта тенденция характерна и для развития гуманитарных наук: они вырабатывают новые интегральные представления и понятия. Одним из таких интегральных понятий стало *культурологическое понятие текста* как гибкой в своих границах, иерархизированной, но подвижно структурирующейся системе значащих элементов, охватывающей диапазон от единичного высказыва-

---

a vision, establishes itself in an actual place, it has a peculiar way of muddling categories, of making metaphors more real than their referents; of becoming, in fact, part of scenery».

ния до многоэлементных и гетерогенных символических образований.

Современное операционально гибкое представление о тексте стало результатом длительного развития этого понятия в отечественной филологии – от жесткого статического понимания текста в начале 1960-х до мягких функциональных определений 1990-х годов. Траекторию этого развития нетрудно проследить по разновременным работам тартуско-московской семиотической школы, которой, в сущности, и обязаны понятием текста отечественные гуманитарные науки.

Это направление начинало с жесткого понятия текста. Текст, как его определял А. М. Пятигорский, должен удовлетворять по меньшей мере трем условиям: «Во-первых, текстом будет считаться только сообщение, которое пространственно (т. е. оптически, акустически или каким-либо иным образом) зафиксировано. Во-вторых, текстом будет считаться только такое сообщение, пространственная фиксация которого была не случайным явлением, а необходимым средством сознательной передачи этого сообщения его автором или другими лицами. В-третьих, предполагается, что текст понятен, т. е. не нуждается в дешифровке, не содержит мешающих его пониманию лингвистических трудностей» [Пятигорский 1962: 145]. Очевидно, что такое определение текста приложимо почти исклю-

чительно к жестко структурированным, завершенным и материально зафиксированным вербальным текстам. В дальнейшем это понятие сильно эволюционировало, особенно когда было перенесено из области лингвистики в сферу семиотически понятой культуры. Расширение и изменение содержания понятия текста отчетливо прослеживается в работах Ю. М. Лотмана. В серии своих последних трудов, объединенных в книге «Культура и взрыв», Лотман выдвинул стадиально новое, с учетом постструктуралистской парадигмы, понимание текста.

Отталкиваясь от представления «об отдельном, изолированном, стабильном самодовлеющем тексте», характерном для структурализма 1960-х годов, Ю. М. Лотман предложил мыслить текст «не как некоторый стабильный предмет, имеющий постоянные признаки, а в качестве функции: как текст может выступать и отдельное произведение, и его часть, и композиционная группа, жанр, в конечном итоге – литература в целом». При этом, подчеркивал Ю. М. Лотман, дело совсем не в том, что в понятие текста вводится количественная «возможность расширения». Принципиальное отличие нового понимания текста состоит в том, что в его понятие «вводится презумпция создателя и аудитории <...> Современная точка зрения опирается на представление о тексте как

пересечении точек зрения создателя текста и аудитории. Третьим компонентом является наличие определенных структурных признаков, воспринимаемых как сигналы текста. Пересечение этих трех элементов создает оптимальные условия для восприятия объекта в качестве текста. Однако резкая выраженность некоторых из этих элементов может сопровождаться редукцией других» [Лотман 1992: 178, 179].

Такое понимание текста, как видим, в значительной степени расширило сферу его применения для описания семиотической деятельности человека и ее результатов. Поэтому последовательным логическим звеном в развитии понятия текстуальности у Ю. М. Лотмана стала его концепция *семиосферы*. Термин был образован по аналогии с *ноосферой* В. И. Вернадского. Семиосфера, по Ю. М. Лотману, – это «синхронное семиотическое пространство, заполняющее границы культуры и являющееся условием работы отдельных семиотических структур и, одновременно, их порождением» [Лотман 1996: 4]. Понятно, что в рамках концепции семиосферы понятие текстуальности уже не ограничивается областью литературы и даже культуры в ее узком понимании. Оно охватывает предельно широкую сферу результатов информационно-творческого взаимодействия человека и действительности, его повседневного поведения. В част-

ности, признак таким образом понятой текстуальности вполне корректно определяет *место жизни* человека в его семиотической проекции, через которую *место* входит в семиосферу национальной культуры как один из ее топосов.

С другой стороны, выдвинутое Ю. М. Лотманом понятие презумпции текстуальности как конститутивное для понимания самого текста повлияло и на трактовку таких его фундаментальных свойств, как *связность* и *цельность*. Этот шаг вслед за поздними работами Ю. М. Лотмана сделал Б. М. Гаспаров. Прежде всего, он развил само понятие презумпции текстуальности в отношении нашей речевой деятельности: «Важным аспектом нашего отношения к высказыванию является тот простой факт, что мы сознаем его как «текст», то есть единый феномен, данный нам в своей целостности. «Текст» всегда имеет для нас внешние границы, оказывается заключенным в «рамку» – все равно, присутствует ли такая рамка в самом высказывании с физической очевидностью <...> либо примысливается говорящим субъектом по отношению к определенному отрезку языкового опыта, так что этот отрезок оказывается для него выделенным в качестве целостного текста-сообщения» [Гаспаров 1996: 324]. В такой «готовности, даже потребности» нашего сознания «представить себе нечто, осознаваемое нами как

высказывание, в качестве непосредственного и целиком обозримого феномена» и заключается *презумпция текстуальности*. Но самое важное в том, какое следствие выводит Б. М. Гаспаров из признания презумпции текстуальности как конструктивного фактора текста: «Действие презумпции текстуальности состоит в том, что, осознав некий текст как целое, мы тем самым ищем его понимания как целого. Это «целое» может быть сколь угодно сложным и многосоставным; поиск «целостности» отнюдь не следует понимать в том смысле, что мы ищем абсолютной интеграции всех компонентов текста в какое-то единое и последовательное смысловое построение. Идея целостности, вырастающая на основе презумпции текстуальности, проявляется лишь в том, что, какими бы разнообразными и разнородными ни были смыслы, возникающие в нашей мысли, они осознаются нами как смыслы, совместно относящиеся к данному тексту, а значит – при всей разноречивости – имеющие какое-то отношение друг к другу в рамках этого текста» [Гаспаров 1996: 324].

Предложенный Б. М. Гаспаровым подход к понятию текста представляется нам не только эвристически более богатым и перспективным, но и точным по существу. Вернее, по-новому точным. С точки зрения позитивистского сознания такое понятие нетруд-

но упрекнуть в зыбкости, неопределенности и субъективизме. На наш взгляд, оно, напротив, глубоко соответствует общей тенденции современного понимания того, что граница между «я» и «миром» вовсе не такая жесткая, как это представлялось, что активность и подвижность нашего сознания есть фактор самой реальности, а не всецело субъективное свойство. Б. М. Гаспаров ввел в структуру понятия текста позицию наблюдателя (носителя презумпции текстуальности), воспринимающего семиотический объект. Этот решительный поворот (намеченный Ю. М. Лотманом) не субъективировал понятие в смысле его произвольности, а, напротив, сделал его более адекватным изучаемому объекту – континуально организованной и подвижно (в частности, в зависимости от точки зрения наблюдателя) структурирующейся семиотической среды, в которую погружен человек.

Стоит заметить, что аналогичное движение к признанию текстового статуса и попыткам описания обширных и подвижных текстовых единств мы наблюдаем не только у культурологов, но и в современной лингвистике, долгое время придерживавшейся более жесткого и статичного понимания текста. Например, уральские лингвисты Н. А. Купина и Г. В. Битенская, рассматривая текст как единицу культуры и учитывая его двойственную природу («текст хранит

культурную информацию и входит в культуру в качестве самостоятельной единицы» [Купина, Битенская 1994: 215]), пришли к мысли о необходимости выделения «особого культурно-системного речевого образования» – сверхтекста. Исследователи определяют сверхтекст следующим образом: это «совокупность высказываний, текстов, ограниченная темпорально и локально, объединенная содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной модальной установкой, достаточно определенными позициями адресанта и адресата, с особыми критериями нормального / аномального» [Купина, Битенская 1994: 215].

Принимая предложенное определение текста, мы получаем в руки технологичный инструмент анализа результатов символической деятельности человека по адаптации места жизни к порядку культуры. Историческая жизнь места (локуса) сопровождается непрерывным процессом символизации, результаты которой закрепляются в фольклоре, топонимике, исторических повествованиях, в широком многообразии речевых жанров, повествующих об этом месте, и, наконец, в художественной литературе.

В стихийном и непрерывном процессе символической репрезентации места формируется более или менее стабильная сетка семантических констант. Они становятся доминирующими категориями описания

места и начинают, по существу, программировать этот процесс в качестве своего рода матрицы новых репрезентаций. Таким образом формируется *локальный* текст культуры, определяющий наше восприятие и видение места, отношение к нему. От «Слова о житии отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом» Епифания Премудрого до стихов современных пермских поэтов формировался *пермский* текст русской культуры.

В идеале для того, чтобы наиболее полно выявить и описать уральский или пермский тексты, следовало бы проанализировать весь объем их текстовых отражений во всем многообразии речевых жанров. В рамках предпринятого исследования это физически сделать невозможно. Тем не менее мы стремились к тому, чтобы учесть как можно более разнообразные тексты о Перми. Поэтому материалом исследования в нашей работе становятся тексты культуры (преимущественно вербальные, частично – визуальные) самого разного уровня и статуса: это произведения русской литературы от Епифания Премудрого до пермских поэтов 1980-х годов, исторические сочинения XVIII – начала XIX века от М. В. Ломоносова до Н. М. Карамзина, эпистолярная и документальная очерковая проза XIX века от П. И. Мельникова-Печерского до Д. Н. Мамина-Сибиряка, газетные статьи и замет-

ки, записи городского фольклора и устных рассказов представителей местной творческой интеллигенции, общественных деятелей и пермских старожилов.

Приведенный перечень отражает наш принципиальный подход к выбору текстов для анализа. В историко-литературных исследованиях (и это резко отличает их от лингвистики, фольклористики и медиевистики) до самого последнего времени господствовал избирательный, ценностно-иерархический подход к материалу. Из сферы исследований априорно исключались те пласты литературного наследия и аспекты литературной жизни, которые признавались (в сущности, предвзято) заведомо лишенными эстетической, художественной ценности, а следовательно, не представляющими ценности для науки. Такой ценностный критерий к отбору текстов, поскольку речь идет об исследовании, нами категорически не разделяется. Здесь нет «низких» форм и жанров. Каждый жанр выражает человека, его способы отношения с миром: газетная фразеология, безыскусный устный рассказ, анекдот, топоним порой могут сказать о человеке и обществе более выразительно и глубоко, чем стихотворение или рассказ.

И все же главным предметом в нашем историко-литературном по преимуществу пособии будет художественная литература. Это естественно и в отношении

локального текста. Только в художественной литературе локальные тексты достигают той высокой степени осмысленности и завершенности, которая вводит их в культуру. Только в значительных художественных произведениях город и местность могут обрести собственный голос и, самое главное, проявить свое существование для общего культурного сознания. Настоящие авторы Петербурга, который мы знаем, – А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, А. А. Блок, А. Белый, А. А. Ахматова. Только в их поэмах, стихах и романах Петербург заговорил и осознал себя.

Литературная судьба Урала и Перми гораздо скромней, уральский и пермский тексты не так развиты и уж тем более не так полно *явлены* в русской культуре, как петербургский. Но своя литературная история есть и у них. Для изучения уральского и пермского текстов дают материал путевые записки XIX в., творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. П. Бажова, В. В. Каменского, Б. Л. Пастернака, современных уральских поэтов и прозаиков, в особенности Алексея Иванова, в романах и эссеистике которого уральский текст достигает уровня высокой рефлексии, осознает себя.

То, что объектом филологической работы становится, по существу, территория – регион и город, тоже не совсем привычно. Мы ступаем на территорию, где пересекаются интересы самых разных научных дис-

циплин. Город как феномен культуры и социальной жизни вызывает все возрастающий интерес. Здесь встречаются интересы истории, антропологии, социологии, политологии и географии. В рамках географии, например, резко возрос интерес к культурологической проблематике [Лавренова 1998]. Однако у филологии в изучении города есть своя, далеко не второстепенная задача. Филологические науки, как нам кажется, могут внести в изучение таких сложных социокультурных объектов, как город, особый и, возможно, генерализующий вклад. Прежде всего потому, что все процессы, сопровождающие жизнь города (экономические, природные, социальные), приводят к знаковым отложениям в языке и зачастую только по следам в языке становятся доступными для наблюдения. Поэтому понятие локального текста, понимание города (и территории) как текста в определенной степени резюмирует жизнь человека в месте его жизни.

Сегодня изучение *локальных текстов* русской культуры превращается в быстро развивающееся направление в филологии. Уже классическими стали работы Ю. М. Лотмана и В. Н. Топорова по исследованию петербургского текста. В русле формирующегося вслед за ними направления выполнен ряд конкретных работ по изучению семантики и структуры отдельных исторических местностей России. Одним из

первых шагов в этом направлении стало исследование А. Н. Давыдова семантики городской среды Архангельска [Давыдов 1988], И. А. Разумова предложила описание литературно-фольклорного образа Петрозаводска [Разумова 2000], Е. В. Милюкова – Челябинска [Милюкова 2000], А. А. Литягин и А. В. Тарабукина – Старой Руссы [Литягин, Тарабукина 2000]. Реализована программа исследований московского текста, в рамках которой уже выполнен целый ряд исследований [«Московский текст» 1997; Москва и «московский текст» 1998]. Предложено описание крымского текста русской культуры [Люсый 2003].

Другое ключевое понятие, которое используется в пособии, менее строгое, чем понятие локального текста, – *геопэтика*. Оно вошло в оборот лишь в середине 1990-х годов и пока не получило какой-либо общепринятой интерпретации. Тем не менее эвристический потенциал понятия-образа «геопэтика» интуитивно кажется многообещающим. В ряде очерков пособия мы рассмотрим это понятие. Предварительно можно сказать, что если понятие текста фиксирует прежде всего структуру творчески преобразованного пространства, то геопэтика обращает нас к его образно-символической фактуре. Это понятие мы более подробно рассмотрим в дальнейшем.

Завершая введение, хотелось бы особо подчерк-

нать, что изучение локальных текстов и геопоэтических образов территорий имеет серьезный практический аспект и приложение. Могущие показаться отвлеченными и чисто спекулятивными филологическими студиями подобные исследования имеют непосредственное отношение к жизни человека, выявляя важный аспект его жизненного мира.

Локальный текст оказывается живой и действенной инстанцией, организующей отношения человека и среды его обитания. Его символические ресурсы включаются в процесс самоидентификации. Поэтому осознанное отношение к месту собственной жизни становится актуальной задачей духовного творчества. Особенно в современной России, пережившей крах символических структур советского геопространства. Поэтому в пособии уделено внимание прагматическим аспектам исследования пространства. В частности, отдельный очерк посвящен практике городских экскурсий как методу, углубляющему чувство территориальной идентичности.

## **Список литературы**

*Волошин М.* Коктебельские берега. Симферополь, 1990.

*Гаспаров Б. М.* Язык, память, образ. Лингвистика

языкового существования. М., 1996.

*Давыдов А. Н.* Архангельск: семантика городской среды в свете этнографии международного морского порта // Культура русского севера. Л., 1988. С. 86-99.

*Купина Н. А., Битенская Г. В.* Сверхтекст и его разновидности // Человек. Текст. Культура. Екатеринбург, 1994.

*Лавренова О. А.* Географическое пространство в русской поэзии XVIII – начала XX века. Геокультурный аспект. М., 1998.

*Литягин А. А., Тарабукина А. В.* К вопросу о центре России (топографические представления жителей Старой Руссы) // Русская провинция: миф – текст – реальность. М. – СПб., 2000. С. 334-346.

*Лотман Ю. М.* Культура и взрыв. М., 1992.

*Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. М., 1996.

*Люсый А. П.* Крымский текст в русской литературе. СПб., 2003.

*Милюкова Е. В.* Челябинск: окно в Азию или край обратной перспективы // Русская провинция: миф – текст – реальность. М. – СПб., 2000. С.347-361.

*Пятигорский А. М.* Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала // Структурно-типологические исследования. М., 1962.

*Разумова И. А.* «...Как близко от Петербурга, но

как далеко» (Петрозаводск в литературных и устных текстах XIX-XX вв.) // Русская провинция: миф – текст – реальность. М. – СПб., 2000. С. 324-334.

«Московский текст» русской культуры (*статьи Плюхановой М. Б., Погосян Е. А., Рогова К. Ю., Николаева Т. М., Шварцбанд С., Цивьян Т. В., Спивак М. Л., Бурина С. и др.*) // Лотмановский сборник – 2. М., 1997. С. 483-804.

Москва и «московский текст русской культуры: Сборник статей. М., 1998.

*Shama S. Landscape and Memory. New York, 1996.*

# Геопоэтический подход к изучению истории литературы Урала

В 2009 году финалистом литературной премии «Большая книга» и безусловным фаворитом голосования читателей стал путешественник и эссеист Андрей Балдин с книгой «Протяжение точки». Это событие литературной жизни можно считать симптоматичным, если принять во внимание, что читателей и литературных критиков захватил не роман, не биография знаменитого человека, а сборник казалось бы специальных по теме и весьма непростых для восприятия эссе. Дело в предмете размышлений. Андрей Балдин думает о российском пространстве. Перечитывая Пушкина и Карамзина, Толстого и Чехова, он исследует, как соотносятся образы пространства, созданные литературой, и география России: «реальная, географическая и «бумажная» литературная карты» [Балдин 2009: 235].

Книга Андрея Балдина о конфликтах ментальной и физической географии России ответила какому-то общему вектору в развитии нашего сознания. Этот вектор наглядно сказывается, например, в резком повы-

шении семантической активности самого слова *пространство*. Оно стало повсеместным. Мы описываем им области, лишённые физических измерений, говорим о пространстве духовном, информационном, виртуальном, культурном, экономическом. Складывается впечатление, что в координатной сетке наших восприятий ось пространства начинает если не доминировать, то, по крайней мере, соперничать с осью времени, география с историей.

Этот сдвиг восприятий сказывается и на изучении литературы и, шире, культуры в повышенном внимании к пространственным аспектам ее развития и функционирования. Утверждается понимание, что культура не только развивается во времени, но и размещается в пространстве, взаимодействует с ним, определяя формы его восприятия. И речь в таком случае идет о пространстве не в метафорическом, а в самом буквальном смысле слова – о пространстве географическом, в котором живет, распространяется и которое осваивает национальная культура. Представляется, что понятие *геопэтика* может послужить одним из инструментов, а может быть, и одной из стратегий в работе по осмыслению истории региональных отделов русской литературы, в частности уральского.

Слово «геопэтика» вошло в оборот с середины 1990-х годов во многом благодаря поэту Игорю Сиду,

организатору «Крымского клуба» и устроителю первой конференции по геопэтике в 1996 году. Слово прижилось, и во многом потому, что прозвучало оно, по удачному выражению Андрея Битова, «как бы заранее убедительно», поскольку точно попало в «какое-то больное место, в нерв наступающей эпохи» [Битов 1996: 12]. Иначе говоря, слово «геопэтика» ответило уже созревшему ожиданию новых смыслов и аспектов именно от пространственного взгляда на мир.

Есть, по крайней мере, два понимания, что такое геопэтика.

Для живущего во Франции шотландского поэта и эссеиста Кеннета Уайта (Kenneth White) и украинского писателя Юрия Андруховича геопэтика – это универсальный культурный проект или творческая стратегия, в основе своей имеющая антиурбанистический и антитоталитарный, антиутилитарный и антиглобалистский импульс. То есть геопэтика – это возвращение к целостному поэтическому восприятию и переживанию мира.

Для филологов геопэтика – это, естественно, специфический раздел поэтики, имеющий своим предметом как образы географического пространства в индивидуальном творчестве, так и локальные тексты (или сверткесты), формирующиеся в национальной куль-

туре как результат освоения отдельных мест, регионов географического пространства и концептуализации их образов. Так, в русской культуре есть геополитические образы-тексты Петербурга и Москвы, Крыма, Кавказа, Сибири, Урала, Поморья и т. п.<sup>2</sup>

По существу, и то и другое значения связаны, как поле действия и рефлексии в одной реальности – реальности символических форм<sup>3</sup>. Кратко говоря, геополитика – это и есть та исторически сложившаяся в дис-

---

<sup>2</sup> По определению эссеиста и путешественника В. Голованова, геополитика – это «особый вид литературоведческих изысканий, сфокусированных на том, как Пространство раскрывается в слове – от скупых, назывных упоминаний в летописях, сагах, бортовых журналах пиратских капитанов до сногшибательных образно-поэтических систем, которые мы обнаруживаем, например, у Хлебникова (применительно к системе Волга – Каспий), у Сент-Экзюпери (Сахара), у Сен-Жон Перса (Гоби, острова Карибского моря) или у Гогена (Полинезия)» [Голованов 2002: 158].

<sup>3</sup> О геополитике как пространстве творческого действия выразительно сказал украинский писатель Юрий Андрухович: «Это изобретение – слово «геополитика» – принадлежит нашему московскому другу Игорю Сиду. Но он, кажется, не вкладывал в него того содержания, которое вкладываю я – геополитика как своеобразная альтернатива геополитике. Геополитика является если не циничной, то по крайней мере прагматичной, условно говоря, пространством реальности <...>. Геополитика – это Проди, который говорит, что Украина лежит вне Европы. Геополитика же является пространством сверхреальности. Центрально-Восточная Европа из понятия геополитического делается чем дальше, тем больше геополитическим понятием, и потому в ней хорошо пишется, и потому именно сегодня в ней так много чудесных авторов и текстов» [Андрухович 2004].

курсивных практиках (и не в последнюю очередь благодаря литературе) символическая форма, в которой мы застаем объемлющую нас географию.

Хотелось бы особенно подчеркнуть, что, говоря о геопэтике, мы имеем дело не только с некоей научной абстракцией, просто инструментом понимания, а с живой реальностью жизненного опыта. Геопэтика вводит нас в сферу чувственных, глубоко эмоциональных и пристрастных отношений человека с пространством.

Есть род писателей-топофилов с особенно обостренным чувством пространства и места, таких как Гоголь, Белый, Пастернак, Бродский. Но в какой-то менее концентрированной степени все мы топофилы или топофобы, у нас есть личные отношения с пространствами и местами. Поэтому, апеллируя к опыту писателей, мы имеем дело все же с общей культурно-антропологической проблемой отношений человека и пространства. Только у писателей-топофилов существо этих отношений открывается ярко и концентрированно, как, например, у Гоголя и Пастернака. Вникая в суть этих отношений, интересно поставить в диалогическое отношение фрагменты текстов как раз этих писателей.

Возьмем, с одной стороны, хрестоматийный пассаж о русском пространстве из поэмы Гоголя.

Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзуют, и стремятся в душу, и выются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!.. [Гоголь 1952: 80]

Пространство воспринимается Гоголем не статически – как пустая среда или отделенный, дистанцированный объект созерцания, картина, а как органически живая и грозная стихия, объемлющая автора. Контакт с пространством переживается как эмоционально напряженная и эротически окрашенная встреча с иным, *не-Я*, с непостижимым *Другим*, как взаимодействие и взаимопроникновение их, как напряженные поиски понимания. Человек вглядывается в пространство, и пространство вглядывается в человека.

Такое динамическое восприятие пространства, реализованное в слове, предвосхищает его видение в литературе XX века. Почти как ответ на гоголевское вопрошание: «Чего же ты хочешь от меня?» – прочитываются строки Бориса Пастернака в поэтическом фрагменте «Двадцать строф с предисловием», связанном с романом «Спекторский».

Графленая в линейку десь!  
Вглядись в ту сторону, откуда  
Нахлынуло все то, что есть,  
Что я когда-нибудь забуду.

Отрапортуй на том смотру.  
Ударь хлопушкой округи.  
Будь точно роща на юру,  
Ревущая под ртищем вьюги.

Как разом выросшая рысь,  
Всмотрись во все, что спит в тумане,  
А если рысь слаба вниманьем,  
То пристальней еще всмотришь.

Одна оглядчивость пространства  
Хотела от меня поэм.  
Одна она ко мне пристрастна,  
Я только ей не надоем.

Когда, снуя на задних лапах,  
Храпел и шерсть ерошил снег,  
Я вместе с далью падал на пол  
И с нею ввязывался в грех.

По барабанной перепонке  
Несущихся, как ты, стихов  
Суди, имею ль я ребенка,  
Равнина, от твоих пахов? [Пастернак 2003: 1, 232)]

В избранных нами фрагментах произведений так далеко – и исторически, и психологически – отстоящих друг от друга писателей мы находим выражение единого опыта. Отношения человека и обступающего его пространства описываются в форме встречи, взаимного взглядывания и томящего ожидания. Но что ожидает от человека пространство? На этот вопрос

отвечает Пастернак<sup>4</sup>. С новой откровенностью поэта XX века Пастернак обнажает ту основу отношений человека и места, которая присутствует, но имплицитно у Гоголя. Эти отношения чувственны и эротичны. Ед-

---

<sup>4</sup> О телесном характере отношений человека и природного ландшафта глубоко размышлял русский мыслитель и мистик Даниил Андреев. Описывая исторические фазы отношения человека к природе, он отмечал характерное для XX века стремление к восстановлению телесных ощущений природы. «Зрительное созерцание Природы стало уже недостаточным: появилась потребность ощущать стихии осязательно и моторно, всей поверхностью тела и движением мускулов. Этой потребности отвечали отчасти туризм и спорт; и, наконец, в 1-й половине нашего столетия пляж, с его физиологическим растворением человека в солнечном свете, тепле, воде, игре, плотно и прочно вошел в повседневную жизнь» [Андреев 1992: 38]. Описания Андреевым собственного опыта переживаний слияния с природой в «Розе мира» окрашены в эротические тона. Как, например, описание купания в реке после долгой дороги в знойный день: «Швырнув на траву тяжелый рюкзак и сбрасывая на ходу немудрящую одежду, я вошел в воду по грудь. И когда горячее тело погрузилось в эту прохладную влагу, а зыбь теней и солнечного света задрожала на моих плечах и лице, я почувствовал, что какое-то невидимое существо, не знаю из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радостью, с такой смеющейся веселостью, как будто она давно меня любила и давно ждала. Она была вся как бы тончайшей душой этой реки, – вся струящаяся, вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, беззаботного смеха и нежности, из радости и любви. И когда, после долгого пребывания моего тела в ее теле, а моей души – в ее душе, я лег, закрыв глаза, на берегу под тенью развесистых деревьев, я чувствовал, что сердце мое так освежено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в первые дни творения, на заре времен. И я понял, что происшедшее со мной было на этот раз не обыкновенным купанием, а настоящим омовением в самом высшем смысле этого слова» [Андреев 1992: 38].

ва ли, хотя бы в глухих подсознательных истоках этих строк, не отозвались здесь у Пастернака архаические представления об отношениях человека с землей, материнским ландшафтом.

Заметим, что такое – чувственно-телесное – переживание пространства не является исключительно индивидуальным качеством творческого воображения Гоголя или Пастернака. Для каждого человека отношения с пространством сопряжены с сильными телесными переживаниями удовольствия или страдания, радости или страха. Они сначала соматичны, а уж потом семантически.

Важно подчеркнуть, что отношения человека и обступающего его пространства у обоих авторов описываются в форме встречи, взаимного взглядывания и томящего ожидания. Зов пространства пробуждает желание понять и ответить (по-пушкински: «я понять тебя хочу, темный твой язык учу...»). Что ожидает от человека пространство? На вопрос Гоголя отвечает Пастернак. Пространство хочет от человека поэмы в смысле ποιέμα – работа, творение, от ποιέω – творить, совершать, строить. Эту глубинную, корневую – энергийно-строительную – семантику слова имеет в виду Пастернак, а не литературный жанр. На эрос пространства человек отвечает эросом творчества. В творческом образном именовании

пространства выражается стремление «заколдовать» пространство словом, унять его тектоническое буйство и, осмыслив, назвав, обуздать тем самым стихийную энергию его изгибов, складок и впадин.

Ландшафт предстает поэту как воплощенный, но еще не названный смысл. Искусство именуется его, этот смысл. Так получается геопэтика.

В физической географии Галичина и Прикарпатье – одна территория, но в геопэтическом смысле это две разные реальности. Замечательно об этом глубинном различии сказано у Юрия Андруховича:

Кочевник (не скажу «завоеватель») инстинктивно избегает историзма. Называть определенный край «Галичиной» для него означает признать, здесь кто-то уже был перед ним. Был – в смысле бытия, а не пребывания. Ему удобнее называть все это «Прикарпатьем». Это ни к чему не обязывает, поскольку является простой констатацией географического факта. Причем с точки зрения восточной, ведь с точки зрения европейской мы находимся за Карпатами, то есть называть этот край следует «Закарпатьем» [Андрухович 1997].

Культура (и прежде всего словесная) формирует геопэтические реальности, которые, отражая географические, с ними не совпадают. Возникнув и войдя в традицию, они воспринимаются уже как данность и

начинают как данность действовать. География требует геопоэтику; возникнув, геопоэтика начинает руководить географией. Об этой напряженной и двунаправленной связи хорошо сказал тот же Юрий Андрухович, говоря о музыке, которая создает геопоэтическое единство Карпат поверх всех разделяющих карпатские страны государственных границ: «этой музыки никогда не было бы на свете, если бы не Карпаты. Возможна и обратная зависимость: не было бы Карпат, если бы не эта музыка» [Андрухович 1997]<sup>5</sup>.

Действительно, геопоэтические образы играют колоссальную роль в национальном самосознании. За примером не надо ходить далеко. Едва ли найдутся в русской литературе строки и образы, которые сыграли бы в истории русского самосознания роль большую, чем уже процитированный пассаж Гоголя. Есть метафоры, которыми мы живем. Гоголь дал как

---

<sup>5</sup> «Нелегко найти в этом мире музыку, более земную, чем гуцульская. По уровню биологического напряжения, телесности, секса и смерти может ей приравняться разве что румынская музыка. Или цыганская. Или музыка гуралов. Или мадьяр. Или словаков. Или лемков. <...> Музыка – едва ли не единственная реальность в призрачной структуре Центральной Европы. Музыка дарует смысл разговорам о ее единстве и уникальности. Она пребывает над всеми хроническими конфликтами и стереотипами. Ее сюжеты странствующие, а персонажи универсальные. Безусловно, этой музыки никогда не было бы на свете, если бы не Карпаты. Возможна и обратная зависимость: не было бы Карпат, если бы не эта музыка» [Андрухович 1997].

раз такую метафору русского пространства. Поэтому прав М. Эпштейн, заостряя вопрос: «Какой была бы в нашей душе Россия без этих гоголевских светящихся красок, вихрящихся линий, залиvistых звонов, в которых вдохновенно передан восторг распахнутого простора и необозримого будущего?» [Эпштейн 1996: 130] С Гоголем мы вплотную подходим к занимающей нас проблеме: как соотносится доминанта российской геоэтики с региональной уральской?

Как правило, русское пространство характеризуют определениями дали, шири и безграничности. Это культурный стереотип. Такое геоэтическое представление было концептуализировано в 30-40-е гг. XIX века. Причем изначально в русскую культуру оно вошло в двух, аксиологически контрастных, вариантах: чаадаевском и гоголевском.

Именно Чаадаев первым проблематизировал и историсофски осмыслил факт необъятности России. Он пережил ее пространство как кошмар дурной бесконечности, истощающей созидательные силы нации и выводящей ее за рамки истории.

Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все

эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это – факт географический [Чаадаев 1989: 154].

Беспредельное пространство России у Чаадаева становится впечатляющей метафорой ее исторической судьбы. Оно поглощает время, историю: мы спим, «похороненные в нашей необъятной гробнице» [Чаадаев 1989: 148]. Такая поэтическая и историческая трактовка пространства получит художественное развитие у Андрея Белого в образах его книги стихов «Пепел», у Ивана Бунина в повести «Деревня».

Но культурным стереотипом стал иной – оптимистический – вариант геопозитической доминанты. С гоголевским патетическим описанием необъятного простора России, который поколение за поколением заучивали наизусть российские школьники, он вошел в общее культурное сознание. Изначально же образ бесконечно разворачивающейся русской равнины был ассоциирован с особенностями русской души. Столь же хрестоматийным, как гоголевский образ необъятного простора, стало описание русской песни-души у И. С. Тургенева.

Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос [...]. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась [...]. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы [Тургенев 1963: 241].

Изоморфность русской ментальности и геопозэтики была доведена до ясности формулы в историософских построениях Н. Бердяева.

Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине [Бердяев 1990: 44].

Такой прямой ход мысли – от представления о пространстве «широка страна моя родная» к представлению о ментальности «широк русский человек» – стал достоянием массового сознания. Почти трюизмом. И в таком виде вошел в массовый политический дискурс.

Итак, в том или ином аксиологическом варианте, но

бесконечно раздвигающаяся вдаль и вширь русская равнина, родственная русской душе, стала одной из базовых метафор национальной культуры, ее геополитической доминантой. Явно или подспудно, но эта метафора, принятая за аксиому, зачастую определяет исход бесконечных споров о судьбах России<sup>6</sup>.

Между тем уральское пространство существенно

---

<sup>6</sup> Со времен Чаадаева и по сей день «факт географический» остается для России фундаментальным тезисом исторического, политического и национального самоутверждения. Более того, внимание к проблемам пространственного развития в его экономических, политических, исторических и идеологических аспектах все более обостряется в дискуссиях о настоящем и будущем страны. В поисках собственного места в мире Россия по-прежнему апеллирует к своему пространству, главному источнику как наших надежд, так и страхов. Неслучайно вопрос о судьбе двух островов приобрел для россиян почти гамлетовский характер. Небесполезен для анализа ситуации недоброжелательный, но все же в некоторых моментах не лишенный оснований взгляд современного французского историка: «Русские так и не сумели ни полностью заселить эти пустынные пространства, ни научиться использовать их с выгодой для себя; роль огромной территории России сводится исключительно к тому, чтобы питать гордыню ее жителей. Просторы эти существенно повышают их самоуважение. «Мы» занимаем шестую часть суши. Возникает впечатление, что это географическое превосходство оказывает влияние на историю русских, придает ей большее величие и большую героичность. Так возникает питательная среда для фантазмов евразийства. По сей день люди, живущие в России, очень тяжело переживают «утрату» нескольких миллионов квадратных километров. Они наотрез отказываются расстаться с двумя японскими островками, которые Сталин в 1945 году объявил частью России. Для многих русских потеря территории равнозначна потере лица» [Безансон 2004].

иное, и оно, как правило, противопоставлено русской равнине. На Урале русскому человеку едва ли не впервые открылись земные недра, их мощь и тайна, и с Уралом в русскую культуру вошла новая модель геопространства, доминирующим началом которой стала не равнинная бескрайность, а темная и неистощимая подземная глубина.

Приведем вполне стереотипное описание: «Могучий горный хребет *прорезает* с севера на юг необозримые просторы русских равнин. Это Урал, в недрах которого хранятся несметные природные богатства» [Скорино 1976: 3; *курсив наш.* – А. В.]. Заметим, описываются горы, но речь идет не о вершинах, а о недрах, о глубине. Устремленность в земную глубину – это и есть преобладающий вектор формирования региональной уральской геопэтики. Она носит ярко выраженный теллурический характер. Лежащее в ее основе чувство земных глубин объединяет ее локальные варианты – пермский, екатеринбургский и челябинский, каждый из которых характеризуется каким-либо преобладающим оттенком теллуризма [Абашев 2008; Литовская 2004; Милюкова 2004].

Такой геокультурный образ Урала начал формироваться еще в литературе XVIII века, но окончательно оформилась эта модель уральского пространства в 1930-е годы в сказах Павла Бажова. У него ураль-

ские горы – это горы, уходящие в земные глубины, как бы вывернутые наизнанку.

В иных местах горы под облака ушли [...]. А в нашем краю [...] горы мелконькие [...] все эти горки скопом зовут одним словом – гора. Оно и правильно, потому как по нашим местам гора может оказаться там, где ее вовсе не ждут [...]. На что низкое место – болото, а и под ним гора может оказаться. [...] Гора сплошной грядой прошла. Недаром ее раньше Поясом земли звали [...]. В длину тысячами верст считают, а сколь он широк и насколько в землю врезался, этого никто толком не знает. В поясах по старине, известно, казну держали. Оттого, может, и нашей горе прозвание досталось [Бажов 1976: 146,147].

Необъятности безудержно разбегающейся вдаль и вширь русской равнины бажовский Урал противопоставил глубину, потаенность, потусторонность и сосредоточенность. Тайная глубина земли, хранящая сокровища, и стала постоянным вектором территориального самосознания, главной осью его концептуализаций.

Близкое бажовской традиции сочетание определений (глубина и богатство) мы обнаружим и в осоргинском описании Урала, а еще ранее в уральской прозе и поэзии Бориса Пастернака. Недаром Цветаева сказала: «Нет Урала, кроме пастернаковского».

Геопозитическая модель Урала, сформировавшаяся в 1920-30-е годы, получила новое развитие в начале 2000-х в прозе Алексея Иванова в цикле его уральских романов: «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Золото бунта». Воссоздав с потрясающим эффектом художественной реальности мир средневековой Перми Великой в романе «Сердце Пармы», Алексей Иванов открыл литературе пути к новому художественному регионализму, темпераментному и энергичному, уверенному в себе и думающему без оглядки на литературный мейнстрим. Все романы его уральского цикла объединяет единая и сильная интуиция ландшафта, чувство земли. Чтобы охарактеризовать особенность этого ощущения, сошлемся на одно из интервью писателя. Отвечая на вопрос о своих первых литературных опытах в жанре фантастики, Иванов сказал:

Я ощущаю себя оставившим фантастику как жанр, сам на себя зацикленный, ограниченный собственными рамками, а не стилевые приемы фантастики, *настроение фантастики*. Ощущение многомерности мира, ощущение, что та реальность, которая перед глазами, – еще не все, чем мир может удивить человека [Иванов 2005: 14; *курсив наш – А. В.*].

«Настроение фантастики» в уральских романах

Иванова проявляется не только и даже не столько в появлении сверхъестественных существ и явлений, сколько в описаниях ландшафта – гор, рек, тайги, звездного неба. Вот характерный пример из романа «Сердце Пармы».

Они медленно шагали по Священной дороге. Трещали кузнечики, во рву у Вышкара пели лягушки, в реке изредка всплескивала рыба. Неприкаянные духи бродили по лесу, шумели ветвями, вздыхали, перешептывались. Только Мертвая Парма горбилась, как *глыба подземной тишины*. Для старого шамана она была словно *мускул огромного сердца земли, которое обнажилось из-под почвы и медленно бьется вместе с высоким ходом судеб*, что как тучи плывут над памом и князем, над Мертвой Пармой, над народами, богами и звездами [Иванов 2003: 14].

Здесь в описании панорамы, открывающейся идущим к Гляденовскому холму близ Перми («Мертвая Парма»), «настроение фантастики» сильнее всего выражается не в духах, бродящих по лесу, а в мощных метафорах, выражающих жизнь и силу холма – «огромного сердца земли». Конечно, можно сказать, что такое восприятие выражает архаическое сознание. Действительно, оно вводится в повествование как взгляд старого шамана. Но в романе «Географ

глобус пропил» то же видение и чувство ландшафта приписано современному человеку, учителю Служкину. Перед нами, несомненно, авторское ландшафтное чувство. Алексей Иванов в формах ландшафта чувствует и видит непостижимую жизнь и неукротимую энергию земных глубин. Его горы и реки живы не в смысле банального метафоризма, а по существу: их энергия определяет ход истории и человеческих судеб. Эта интуиция и превращает его пейзажи в геопозэтические образы. Алексея Иванова эстетически притягивает древнее, неведомое, вышедшее из темных и страшных земных глубин. В мифопоэтических терминах Алексей Иванов чувствует Землю преимущественно как  $\chi\theta\omega\nu$ . В своей хтонической ипостаси Земля открывается как темная бездна, порождающая чудовищное, как мир, куда уходят мертвые.

В уральской прозе Алексея Иванова с новой степенью художественной убедительности и глубиной интеллектуальной рефлексии реализуется традиционная геопозэтическая доминанта Урала. Ее же хтонический колорит связан с локальной пермской традицией.

Есть основания полагать, что хтонически окрашенный уральский теллуризм как геопозэтическая доминанта региона уже приобрел черты универсального культурного стереотипа. Сошлемся хотя бы на

фильм Python II (2002) совместного американского и болгарского производства. Для нас фильм интересен именно тем, что это продукт массового кинопроизводства, использующего максимально распространенные культурные стереотипы. В основе сюжета фильма лежат перипетии охоты американского и российского спецназа на громадного питона, появившегося на свет в результате секретных генетических экспериментов. Характерно, что чудовищный змей скрывается не где-нибудь, а именно в глубинах Уральских гор. Милитаристская репутация Урала сливается здесь с хтоническим субстратом его мифологии.

1990-е годы стали временем расцвета территориального самосознания. В это время региональная геопозитическая доминанта, апеллирующая к земным недрам, дополнилась принципиально новыми акцентами. Формируется мессиански и эсхатологически окрашенная неомифология Урала, и региональная геопозитика приобретает геополитические проекции.

Один из влиятельных примеров их проявления – роман Сергея Алексеева «Сокровища Валькирии». Он вышел в 1998 году и приобрел массовую популярность. Для многих энтузиастов уральского культурного самосознания он даже стал авторитетным источником сокровенных знаний об Урале. Это типич-

ный авантюрный роман с элементами фэнтези. Его художественные достоинства невелики. Но сюжет романа вписан в довольно внятно прописанную геополитическую и историческую схему. Именно в ней и сосредоточен интерес поклонников романа и секрет его немалого успеха. Суть этой концепции сводится к утверждению, что Россия и славянские народы – естественные преемники древней арийской цивилизации, поскольку, как пишет Алексеев, «никогда не покидали ее [первородного] ареала [...] и оставались в ее космическом Пространстве» (102). Между тем древняя прародина ариев, их родовое пространство – это не что иное, как Северный Урал.

Именно здесь, на Урале, согласно С. Алексееву, сосредоточено «самое мощное скопление ‘перекрестков’» (своего рода центров сосредоточения геокосмической энергии – А. В.):

Словно кто-то встал посредине Евразийского континента и сгреб руками все астральные точки с запада и востока, заодно насыпав гряду Уральского хребта. Но более, чем своим открытиям и расчетам, более, чем магическому кристаллу, Русинов доверял сохранившейся топонимике. УРАЛ буквально означало – «Стоящий у солнца» [Алексеев 1998: 40].

В пещерных лабиринтах, объединяющих воедино

весь уральский хребет, до сих пор хранятся сокровища древней цивилизации, по сию пору охраняемые ее наследниками. Они должны стать основой грядущего возрождения России. Историческая задача героев-патриотов в том и состоит, чтобы Россия вспомнила свое древнее наследство, осознала себя как самостоятельную Северную цивилизацию и собрала вокруг себя арийские народы. Тем самым Россия восстановит исконное мировое Триединство человечества, соответствующее космическому порядку: Восток, Запад и гармонизирующий их противостояние Север.

Такова фантастическая геополитическая схема, в центре которой размещается Урал с его неисчерпаемыми недрами – истинный центр России и основа ее будущего. Авантюрные перипетии романа разворачиваются в реальном географическом пространстве Северного Прикамья: Березники, Соликамск, Чердынь, Красновишерск, Ныроб, реки Вишера и Колва, узнаваемые ландшафты Северного Урала. Именно здесь в знакомых уральцам местах таятся, по роману, остатки городов древних ариев, а в гигантских пещерах хранится наследие исчезнувшей цивилизации. Роман Алексева поэтизирует и мистифицирует Урал как энергетический центр мира, колыбель человечества и место его спасения и передоверяет ему мессианскую

идею России.

Такое превращение региональной геопоэтики в геополитику вряд ли можно считать неожиданным. Оно было подготовлено традицией регионального самосознания. Уже в 1920-е годы, например, в работах пермского профессора краеведа Павла Богословского выдвигался тезис о том, что на Урале сложилась особая «горнозаводская цивилизация» [Богословский 1927: 24]. Отсюда недалеко и до идеи Уральской Республики, обсуждавшейся в 1990-е годы. Во всяком случае, геопоэтические интуиции подспудно питают и геополитические фантазии, и геополитические конструкции.

Связь геопоэтических интуиций с геополитическими, кстати, прозорливо предполагалась Хлебниковым, в ряде статей 1910-х годов сформулировавшим своего рода геопоэтический проект русской литературы. Так вот, Хлебников допускал, что «стремление к отщепенству некоторых русских народностей объясняется, может быть, этой искусственной узостью русской литературы. Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым» [Хлебников 1987: 593].

Солидаризируясь с этой позицией, мы полагаем, что изучение геопоэтического текста имеет не только культурологический и филологический, но и практиче-

ский политический интерес.

Если же суммировать все сказанное в отношении обсуждаемого нами проекта истории литературы Урала, то следовало бы сказать следующее. Изучая литературу Урала, мы, как принципиальную предпосылку изучения, должны осознать, что 'УРАЛ' – это не только территория, с которой связаны такие-то и такие-то писатели, но и геопозитическая реальность, этими же писателями во многом созданная.

Становление геопозитики Урала – это и один из интереснейших сюжетов истории русской литературы, и ракурс исследовательского взгляда, позволяющий по-новому посмотреть на творчество региональных писателей. Поэтому в заключение позволим себе высказать предположение о роли Д. Н. Мамина-Сибиряка в становлении уральской геопозитики, которое в более развернутой форме мы разове́м в следующем очерке.

Принято считать, что в описаниях Урала у Д. Н. Мамина-Сибиряка преобладает социологический и этнографический аспекты. Очевидно, так оно и есть. Но одновременно в прозе этого писателя начинают формироваться собственно геопозитические образы Урала или хотя бы намечается вектор формирования таких образов. Более подробно мы остановимся на этом вопросе в следующем очерке, а пока обратим внима-

ние хотя бы на то, как традиционная романтическая фразеология душевных глубин у Мамина-Сибиряка трансформируется (и это, очевидно, уже особенность регионального писательского опыта) во фразеологию переживания глубин уральской земли, таящих в себе сокровище – золото.

Иногда параллелизм этих рядов, душевного и земного, теллурического, выстраивается прямо и наглядно. Так, например, в романе «Золото».

<...> он совершенно забывался <...>, прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там, в темной глубине, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей в какой-то далекий угол свое сокровище. И в душе у человека, в неведомых глубинах, происходит такая же борьба за крупички правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе и какими родовыми муками добываются такие крупички... Большинство людей счастливо только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти и вообще не дает отчета в пройденном пути [Мамин-Сибиряк 1983: 129].

В других случаях мы наблюдаем, как, наоборот, в описание душевной жизни подспудно включаются элементы теллурического кода.

Бывают такие моменты, когда человек

начинает проверять себя, *спускаясь* в душевную глубину. Ведь себя нельзя обмануть, и нет суровее суда, как тот, который человек производит молча над самим собой. Эта психологическая анатомия не оставляет *камня на камне*. В такие только минуты мы делаемся искренними вполне. Проверая самого себя, я пришел к выводам и заключениям самого неутешительного характера и внутренне обличил себя. Прежде всего, недоставало высокой нравственной чистоты, той чистоты, которую можно сравнить только с чистотой *драгоценного металла*, гарантированного природой от опасности окисления [Мамин-Сибиряк 1981: 5, 131; *курсив наш* – А. В.].

Выделенные в этом этюде психологического анализа выражения могут быть прочитаны в теллурическом ключе как термины испытания земных недр. Происходит очень плотное наложение двух рядов. Тем самым, с одной стороны, вполне тривиальное психологическое наблюдение приобретает неожиданную осязательную убедительность. С другой стороны, не менее стертая романтическая фразеология приобретает устойчивую геопозитическую проекцию, и, как следствие, намечается путь к концептуализации ландшафта.

У Мамин-Сибиряка мы уже встречаем вкрапление

хтонических образов в описание уральских недр.

Лука Назарыч несколько раз наклонялся к черневшему отверстию шахты, откуда доносились подавленные хрипы, точно там, в неведомой глубине, в смертельной истоме билось какое-то чудовище. Откуда-то появился рудничный надзиратель, старичок Ефим Андреич, и молча вытянулся пред лицом грозного начальства [Мамин-Сибиряк 2002: 158].

Таинственная одушевленная глубина земли, недра, где спрятано сокровище, чудовищное, таящееся в подземном мраке, – все это элементы будущей геополитики Урала, которые уже рассеяны в прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка и в будущем сфокусируются в образах Б. Пастернака и П. Бажова, а позднее в уральских романах Алексея Иванова.

## **Список литературы**

*Абашев В. В.* Пермь как текст. Пермь, 2008.

*Алексеев С.* Сокровища Валькирии. М. – СПб., 1998.

*Андреев Д.* Роза мира. М., 1992.

*Андрухович Ю.* «Потяг» к переменам. Электронная газета «Украинская правда». 23 июня 2004. Порядок доступа: <http://www.pravda.com.ua / rus / news / 2004 />

*Андрухович Ю.* Дезориентация на местности. Киев, 1997. Электронный ресурс «ЛитерNet». Порядок доступа: [www.liter.net / = / Andruk\\_hovich / geograf.html](http://www.liter.net/= / Andruk_hovich / geograf.html)

*Бажов П. П.* Собрание сочинений: В 3 т. М., 1976. Т. 2.

*Балдин А.* Протяжение точки. М., 2009.

*Безансон А.* Спор с Марином Мали // Отечественные записки. 2004. № 5 (20). Электронный журнал. Порядок доступа: <http://www.strana-oz.ru / ? numid=20&article=953>

*Бердяев Н.* Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 43-271.

*Битов А.* Интервью с И. Сидом // Литературная газета, 18 декабря 1996 г. С. 12.

*Богословский П. С.* О постановке культурно-исторических изучений Урала // Уральское краеведение. Вып. 1. Свердловск, 1927. С. 23-24.

*Гоголь Н.* Собрание сочинений: В 4 т. М., 1952. Т. 4.

*Голованов В.* Геопэтика Кеннета Уайта // Октябрь. 2002. № 4. С. 157-159.

*Достоевский Ф. М.* Пушкин (Очерк). Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 136-147.

*Иванов А. В.* Сердце Пармы. М., 2003.

*Иванов А. В.* Все мы изнасилованы Голливудом...: [Интервью с А. Гавриловым] // Книжное обозрение.

8 февраля 2005. С. 8.

*Литовская М. А.* Бажов и символическое пространство Екатеринбурга // Региональные культурные ландшафты: История и современность. Тюмень, 2004. С. 31-38.

*Мамин-Сибиряк Д. Н.* Три конца. Екатеринбург, 2002.

*Мамин-Сибиряк Д. Н.* Черты из жизни Пепко // Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 6 т. М., 1981. Т. 5.

*Мамин-Сибиряк Д. Н.* Золото: Роман, рассказы, повесть. Минск, 1983.

*Милюкова Е. В.* Около железа и огня: картина мира в текстах самодеятельной поэзии Южного Урала // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М., 2004. С. 625-644.

*Осоргин М. А.* Времена: Автобиографическое повествование. Романы. М., 1989.

*Пастернак Б. Л.* Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2003. Т. 1.

*Скорино Л. О.* Павел Петрович Бажов // Бажов П. П. Собр. соч.: В 3 т. М., 1976. Т. 1. С. 5-30.

*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М. – Л., 1963. Т. 4.

*Хлебников В.* Творения. М., 1987.

*Чаадаев П. Я.* Сочинения. М., 1989.

*Эпштейн М.* Ирония стиля: Демоническое в обра-

зе России у Гоголя // Новое литературное обозрение.  
1996. № 19. С. 129-147.

# Формирование основ геопоэтики Урала в прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка

Проблема соотношения общего и особенного в литературном развитии – одна из ключевых при изучении истории литературы региона. Существуют ли какие-либо собственные специфические интегральные компоненты в процессе регионального литературного развития или местный литературный процесс является лишь калькой развития национальной литературы, а точнее – литературы центра? Если рассматривать литературу региона только во временном, историческом аспекте, то, скорее всего, на местном уровне мы обнаружим только повторение общих тенденций. Но картина изменится, если мы обратим внимание на пространство, если территорию, ландшафт мы будем рассматривать не как нейтральное вместилище культурной жизни, а как часть общей культурной среды. Тогда одним из сюжетов регионального литературного процесса, его интегрирующим началом станет история формирования образа родной террито-

рии, ее геопоэтики<sup>7</sup>.

Предлагаемый подход предполагает перечитывание литературного наследия. Для уральской литературы в этой связи исключительное значение имеет творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка. Неслучайно в Екатеринбурге предпринято издание полного собрания сочинений писателя<sup>8</sup>, а в уральских университетах начали активно заниматься Маминым. То обстоятельство, что Д. Н. Мамин-Сибиряк вышел из зоны актуального фило-логического чтения, кажется нам несправедливым. В обсуждениях творчества этого писателя все настойчивее звучит нотка неудовлетворенности уровнем его интерпретации, инерцией восприятия его исключительно как писателя-бытовика, писателя-социолога, этнографа – тем, что в подходе к нему «сохраняется традиционная проблемно-социальная раскладка», что «художественный текст все

---

<sup>7</sup> Проблема границ региональной общности писателей требует, конечно, специального обсуждения. Но очевидно, что изучение региональной литературной истории с точки зрения формирования геопоэтики региона потребует пересмотра состава региональной литературы. Границы этой общности оказываются тогда не исключительно географическими. В указанном смысле «быть уральским писателем» означает не только родиться, жить и творить на Урале, но главным образом участвовать в создании геопоэтики Урала.

<sup>8</sup> Мамин-Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч.: В 20 т. / Под общей ред. Г. К. Щенникова. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2002. К настоящему времени вышло, впрочем, всего три тома издания (т. 3 – 2007).

так же «выверяется» соотношением его содержания с проблемами <...> давней исторической действительности: безземельем крестьян в пореформенную эпоху, попытками башкирского населения вернуть земли, «отмежеванные» у него в пользу заводовладельцев, введением «уставной грамоты» для крестьян, приписанных к заводам, «опрощением» части разночинной уральской интеллигенции, поисками «духовных скреп» между людьми, озабоченными общественным прогрессом, и т. д. и т. п.» [Слобожанинова 2005: 250]. Словно писатель всецело принадлежит только своему, уже ушедшему, времени.

Очевидно, созрела потребность заново перечитать Мамина-Сибиряка, перенастроить оптику чтения его художественной прозы. Это насущная задача уральских филологов хотя бы потому, что творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка остается одним из краеугольных камней регионального культурного самосознания. Современные уральские писатели: Алексей Иванов, а за ним и Ольга Славникова оживили уральскую тему, у истоков которой стоит Мамин-Сибиряк. Речь идет о том, есть ли в текстах Мамина что-то, представляющее не только музейный (историко-литературный) интерес, но и задевающее живое – пусть специально филологи-ческое – читательское внимание. Можно ли перечитать его прозу с учетом предложенного совре-

менными писателями свежего и интригующего регионализма с его мыслью о новой форме власти земли – власти ландшафта? Иначе говоря, можно ли прочитать прозу Мамина в геопозэтическом ключе, как звено в становлении геопозэтики Урала?..<sup>9</sup>Что мы пони-

---

<sup>9</sup> Внимание к изучению образов географического пространства в культуре неуклонно нарастает начиная с 1990-х годов. В этом проблемном поле сегодня встречаются и взаимодействуют разные дисциплины и соответствующие им дискурсы: филология, культурология, география, социология, политология. Потому в исследованиях этого рода нет пока внятно отрафлексированной единой понятийной и терминологической системы. Даже на уровне таксономии встречается множественность самоопределений: «гуманитарная география», «метафизическое краеведение», «мифогеография», «сакральная география», «геокультурология», «геолитературоведение». Для изучения образов географического пространства в литературе многообещающим нам представляется понятие *геопозэтики*. В сравнении с другими его отличает прозрачность формулируемого смысла. Понятие фиксирует сам момент взаимодействия и единства земного пространства (**geo**) и организующей его культурной формы (**позэтика**). Под геопозэтикой мы понимаем исторически складывающуюся систему образно-символических констант репрезентации географической территории как единого целого. Геопозэтический образ начинает формироваться, когда территория, ландшафт в своем собственном бытии осознаются как значимая инстанция в иерархии уровней бытия и становятся особенными предметами эстетической и философской рефлексии. Возникновение **геопозэтики** какой-либо территории предполагает именно высокую степень рефлексии, когда ландшафт концептуализируется (в историческом, геополитическом, антропологическом и философско-эстетическом отношении), (или отношениях?), и его доминирующие черты получают символическое осмысление. Этим геопозэтический образ отличается от обычной картины природы, литературного пейзажа.

маем под *геопоэтическим* образом, попробуем пояснить на примере ландшафтного описания из романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил».

Стена Шихана напоминала измятую и выправленную бумагу.

На ее выступах лежал снег, кое-где бурые пятна выжженных холодом лишайников. В громаде Шихана, угрюмо нависшей над долиной, было что-то совершенно дочеловеческое, непостижимое ныне, и весь мир словно отшатнулся от нее, образовав пропасть нерушимой тишины и сумрака. От этой тишины кровь стыла в жилах, и корчились хилые деревца на склоне, пытающиеся убежать, но словно колдовством прикованные к этому месту. Шихан заслонял собою закатное солнце, и над ним в едко-синем небе горел фантастический ореол.

– Шихан – это риф пермского периода, – пояснил Служкин.

И это слово «риф» странно было слышать по отношению к доисторическому монолиту, который на безмерно долгий срок пережил океан, его породивший, и теперь стоит один посреди континента и посреди совершенно чуждого ему мира, освещаемого совсем другими созвездьями [Иванов 2003: 122-123].

Выразительный образ. В описании шихана у Иванова органично соединились пластически живописная

достоверность в передаче облика ландшафтного объекта с глубоким символизмом, эмоционально сильное переживание с интеллектуальной рефлексией. Эффект визуальной убедительности лаконично создан несколькими словами – нетривиальным и зрительно точным сравнением поверхности скального гребня с мятой бумагой. Оно дает представление одновременно и о рельефе, и о цвете каменной стены. Снег на каменных выступах, бурые пятна лишайников – эти детали довершают картину.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.